Иван Тургенев

Постоялый двор

Часть сборника
Первая любовь (сборник)

Иван Тургенев

Постоялый двор

«Public Domain»

1855

Тургенев И. С.

Постоялый двор / И. С. Тургенев — «Public Domain», 1855

«На большой Б…й дороге, в одинаковом почти расстоянии от двух уездных городов, чрез которые она проходит, еще недавно стоял обширный постоялый двор, очень хорошо известный троечным извозчикам, обозным мужикам, купеческим приказчикам, мещанам-торговцам и вообще всем многочисленным и разнородным проезжим, которые во всякое время года накатывают наши дороги. Бывало, все заворачивали на тот двор; разве только какая-нибудь помещичья карета, запряженная шестериком доморощенных лошадей, торжественно проплывала мимо, что не мешало, однако, ни кучеру, ни лакею на запятках с каким-то особенным чувством и вниманием посмотреть на слишком им знакомое крылечко; или какой-нибудь голяк в дрянной тележке и с тремя пятаками в мошне за пазухой, поравнявшись с богатым двором, понукал свою усталую лошаденку, поспешая на ночлег в лежавшие под большаком выселки, к мужичку-хозяину, у которого, кроме сена и хлеба, не найдешь ничего, да зато лишней копейки не заплатишь…»

© Тургенев И. С., 1855
© Public Domain, 1855

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента. 11

Иван Сергеевич Тургенев
Постоялый двор

На большой Б…й дороге, в одинаковом почти расстоянии от двух уездных городов, чрез которые она проходит, еще недавно стоял обширный постоялый двор, очень хорошо известный троечным извозчикам, обозным мужикам, купеческим приказчикам, мещанам-торговцам и вообще всем многочисленным и разнородным проезжим, которые во всякое время года накатывают наши дороги. Бывало, все заворачивали на тот двор; разве только какая-нибудь помещичья карета, запряженная шестериком доморощенных лошадей, торжественно проплывала мимо, что не мешало, однако, ни кучеру, ни лакею на запятках с каким-то особенным чувством и вниманием посмотреть на слишком им знакомое крылечко; или какой-нибудь голяк в дрянной тележке и с тремя пятаками в мошне за пазухой, поравнявшись с богатым двором, понукал свою усталую лошаденку, поспешая на ночлег в лежавшие под большаком выселки, к мужичку-хозяину, у которого, кроме сена и хлеба, не найдешь ничего, да зато лишней копейки не заплатишь. Кроме своего выгодного местоположения, постоялый двор, о котором мы начали речь, брал многим: отличной водой в двух глубоких колодцах со скрипучими колесами и железными бадьями на цепях; просторным двором со сплошными тесовыми навесами на толстых столбах; обильным запасом хорошего овса в подвале; теплой избой с огромнейшей русской печью, к которой наподобие богатырских плечей прилегали длинные борова, и наконец двумя довольно чистыми комнатками, с красно-лиловыми, снизу несколько оборванными бумажками на стенах, деревянным крашеным диваном, такими же стульями и двумя горшками гераниума на окнах, которые, впрочем, никогда не отпирались и тускнели многолетней пылью. Другие еще удобства представлял этот постоялый двор: кузница была от него близко, тут же почти находилась мельница; наконец, и поесть в нем можно было хорошо по милости толстой и румяной бабы стряпухи, которая кушанья варила вкусно и жирно и не скупилась на припасы; до ближайшего кабака считалось всего с полверсты; хозяин держал табак нюхательный, хотя и смешанный с золой, однако чрезвычайно забористый и приятно разъедающий нос, – словом, много было причин, почему в том дворе не переводились всякого рода постояльцы. Полюбился он проезжим – вот главное; без этого, известно, никакое дело в ход не пойдет; а полюбился он более потому, как толковали в околотке, что сам хозяин был очень счастлив и во всех своих предприятиях удачлив, хоть он и мало заслуживал свое счастье, да, видно, кому повезет – так уж повезет.

Хозяин этот был мещанин, звали его Наумом Ивановым. Роста он был среднего, толст, сутуловат и плечист; голову имел большую, круглую, волосы волнистые и уже седые, хотя ему на вид не было более сорока лет; лицо полное и свежее, низкий, но белый и ровный лоб и маленькие, светлые, голубые глаза, которыми он очень странно глядел: исподлобья и в то же время нагло, что довольно редко встречается. Голову он всегда держал понуро и с трудом ее поворачивал, может быть, оттого, что шея у него была очень коротка; ходил бегло и не взмахивал, а разводил на ходу сжатыми руками. Когда он улыбался, – а улыбался он часто, но без смеха, словно про себя, – его крупные губы неприятно раздвигались и выказывали ряд сплошных и блестящих зубов. Говорил он отрывисто и с каким-то угрюмым звуком в голосе. Бороду он брил, но не ходил по-немецки. Одежда его состояла из длинного, весьма поношенного кафтана, широких шаровар и башмаков на босу ногу. Он часто отлучался из дому по своим делам, а у него их было много – он барышничал лошадьми, нанимал землю, держал огороды, скупал сады и вообще занимался разными торговыми оборотами, – но отлучки его никогда долго не продолжались; как коршун, с которым он, особенно по выражению глаз своих, имел много сходного, возвращался он в свое гнездо. Он умел держать это гнездо в порядке: всюду поспе-

вал, все выслушивал и приказывал, выдавал, отпускал и рассчитывался сам, и никому не спускал ни копейки, однако и лишнего не брал.

Постояльцы с ним не заговаривали, да и он сам не любил тратить попусту слова. «Мне ваши деньги нужны, а вам моя харчь, – толковал он, словно отрывая каждое слово, – не детей нам с вами крестить; проезжий поел, покормил, не засиживайся. А устал, так спи, не болтай». Работников держал он рослых и здоровых, но смирных и повадливых; они его очень боялись. Он в рот не брал хмельного, а им выдавал в великие праздники по гривеннику на водку; в другие дни они не смели пить. Люди, подобные Науму, скоро богатеют… но до блестящего положения, в котором он находился – а его считали в сорока или пятидесяти тысячах, – Наум Иванов дошел не прямым путем…

Лет за двадцать до того времени, к которому мы отнесли начало нашего рассказа, уже существовал на том же месте большой дороги постоялый двор. Правда, на нем не было темно-красной тесовой крыши, которая придавала дому Наума Иванова вид дворянской усадьбы; и строением был он победней, и на дворе навесы имел соломенные, а вместо бревенчатых стен – плетеные; не отличался он также трехугольным греческим фронтоном на точеных столбиках; но все же он был постоялый двор хоть куда – поместительный, прочный, теплый – и проезжие охотно его посещали. Хозяин его в то время был не Наум Иванов, а некто Аким Семенов, крестьянин соседней помещицы, Лизаветы Прохоровны Кунце – штаб-офицерши. Этот Аким был смышленый и тороватый мужик, который в молодых еще летах, отправившись в извоз с двумя плохими лошадками, воротился через год с тремя порядочными, да с тех пор почти всю жизнь пространствовал по большим дорогам, ходил в Казань и Одессу, в Оренбург и в Варшаву, и за границу, в «Липецк»,[1] и ходил уж под конец с двумя тройками крупных и сильных жеребцов, запряженных в две громадные телеги. Надоело ему, что ли, его бездомовное, скитальческое житье, захотелось ли ему завестись семейством (в одну из его отлучек умерла у него жена; дети, которые были, тоже померли), только он решился, наконец, бросить свое прежнее ремесло и завести постоялый двор. С позволения своей барыни основался он на большой дороге, купил на ее имя полдесятины земли и построил на ней постоялый двор. Дело пошло на лад. Денег у него на обзаведение было слишком довольно; опытность, приобретенная им в течение долговременных странствований по всем концам России, послужила ему в великую пользу; он знал, чем угодить проезжим, особенно прежней своей братье, троечным извозчикам, из которых со многими он был знаком лично и которыми особенно дорожат содержатели постоялых дворов: так много едят и потребляют эти люди на себя и на своих могучих лошадей. Акимов двор стал известен на сотни верст вокруг… К нему даже охотнее заезжали, чем к сменившему его впоследствии Науму, хотя Аким далеко не мог сравняться с Наумом в уменье хозяйничать. У Акима все было больше на старинную ногу, тепло, но не совсем чисто; и овес у него попадался легкий или подмоченный, и кушанье-то варилось с грехом пополам; у него иногда и такую снедь подавали на стол, что лучше бы ей совсем в печи оставаться, и не то, чтоб он на харчи скупился, а так – баба недосмотрит. Зато он и с цены готов был сбавить, и в долг, пожалуй, не отказывался поверить, словом – хороший был человек, ласковый хозяин. На разговоры, на угощенье он тоже был податлив; за самоваром иной час так разболтается, что уши развесишь, особенно как станет рассказывать про Питер, про степи черкасские или вот еще про заморскую сторону; ну, и выпить, разумеется, с хорошим человеком любил, только не до безобразия, а больше для общества – так о нем отзывались проезжие. Весьма благоволили к нему купцы и вообще все те люди, которых называют старозаветными, те люди, которые, не подпоясавшись, в дорогу не поедут, и в комнату не войдут, не перекрестившись, и не заговорят с человеком, не поздоровавшись с ним наперед. Уже одна наружность Акима располагала в его пользу: он был роста высокого, несколько худ, но очень строен, даже в зрелых летах; лицо имел длинное, бла-

[1] В Лейпциг. *(Прим. автора.)*

гообразное и правильное, высокий и открытый лоб, нос прямой и тонкий и небольшие губы. Взгляд его карих навыкате глаз так и сиял приветливой кротостью, жидкие и мягкие волосы завивались в кольца около шеи: на макушке оставалось их немного. Звук Акимова голоса был очень приятен, хотя слаб; в молодости он отлично певал, но продолжительные путешествия на открытом воздухе, зимой, расстроили его грудь. Зато говорил он очень плавно и сладко. Когда он смеялся, у него около глаз располагались лучеобразные морщинки, чрезвычайно милые на вид, – только у добрых людей можно заметить такие морщинки. Движенья Акима были большею частью медленны и не лишены некоторой уверенности и важной учтивости, как у человека бывалого и много видевшего на своем веку.

Точно, всем бы хорош был Аким, или, как его называли в барском доме, куда он хаживал часто и уже непременно по воскресеньям, после обедни – Аким Семенович, – всем бы был он хорош, кабы не водилась за ним одна слабость, которая уже многих людей на земле погубила, а под конец сгубила и его самого, – слабость к женскому полу. Влюбчивость Акима доходила до крайности; сердце его никак не умело противиться женскому взгляду, он таял от него, как первый осенний снег от солнца… и порядочно уже пришлось ему поплатиться за свою излишнюю чувствительность.

В течение первого года после поселенья своего на большой дороге Аким так был занят постройкой двора, обзаведением хозяйства и всеми хлопотами, которые неразлучны с каждым новосельем, что ему решительно некогда было думать о женщинах, а если и приходили ему на ум какие-нибудь грешные мысли, так он их тотчас прогонял чтением разных священных книг, к которым питал великое уважение (грамоте он выучился еще с первой своей поездки), пением вполголоса псалмов или другим каким богобоязненным занятием. Притом же ему уже пошел тогда сорок шестой год – а в эти лета всякие страсти заметно утихают и стынут, и для женитьбы прошла пора. Аким сам начинал думать, что с него эта блажь, как он выражался, соскочила… да, видно, своей судьбы не минуешь.

Бывшая Акимова помещица, Лизавета Прохоровна Кунце – штаб-офицерша, оставшаяся вдовой после супруга немецкого происхождения, была сама уроженка города Митавы, где она провела первые годы своего детства и где у ней оставалось очень многочисленное и бедное семейство, о котором она, впрочем, заботилась мало, особенно с тех пор, как один из ее братьев, армейский пехотный офицер, нечаянно заехал к ней в дом и на второй же день до того разбуянился, что чуть не прибил самой хозяйки, назвав ее притом: «Du, Lumpenmamsell»,[2] между тем как накануне сам величал ее ломаным русским языком: «Сестрица и благодетель». Лизавета Прохоровна почти безвыездно жила в своем хорошеньком, трудами супруга, бывшего архитектора, благоприобретенном именье; сама им управляла, и очень недурно управляла. Лизавета Прохоровна не упускала ни малейшей своей выгоды, из всего извлекала пользу для себя; и в этом, да еще в необыкновенном уменье тратить вместо гроша копейку сказалась ее немецкая природа; во всем другом она очень обрусела. Дворни у ней водилось значительное количество; особенно держала она много девок, которые, впрочем, ели хлеб не даром: с утра до вечера спины их не разгибались над работой. Она любила выезжать в карете, с ливрейными лакеями на запятках; любила, чтоб ей сплетничали и наушничали, и сама отлично сплетничала; любила взыскать человека своей милостью и вдруг поразить его опалой – словом, Лизавета Прохоровна вела себя уж точно как барыня. Акима она жаловала, оброк весьма значительный он платил ей исправно, – милостиво с ним заговаривала и даже, шутя, приглашала его к себе в гости… Но именно в господском доме ожидала Акима беда.

В числе горничных Лизаветы Прохоровны находилась одна девушка лет двадцати, сирота, по имени Дуняша. Она была недурна собой, стройна и ловка; черты ее, хотя неправильные, могли понравиться: свежий цвет кожи, густые белокурые волосы, живые серые глазки,

[2] «Ты, шлюха» *(нем.)*.

маленький, круглый нос, румяные губы и особенно какое-то развязное, полунасмешливое, полувызывающее выражение лица – все это было довольно мило в своем роде. Притом она, несмотря на свое сиротство, держала себя строго, почти надменно: она происходила от столбовых дворовых; ее покойный отец Арефий лет тридцать был ключником, а дед Степан служил камердинером у одного давно умершего барина, гвардии сержанта и князя. Одевалась она опрятно и щеголяла своими руками, которые действительно были чрезвычайно красивы. Дуняша показывала большое пренебрежение ко всем своим поклонникам, с самоуверенной улыбочкой выслушивала их любезности, и если и отвечала им, то большей частью одними восклицаниями, вроде: да! как же! стану я! вот еще!.. Эти восклицания у ней почти не сходили с языка. Дуняша провела около трех лет в Москве в ученье, где она приобрела те особенного рода ужимки и замашки, которыми отличаются горничные, побывавшие в столицах. О ней отзывались как о девушке с самолюбием (великая похвала в устах дворовых людей), которая хотя и видала виды, однако себя не уронила. Шила она тоже недурно, но за всем тем Лизавета Прохоровна к ней не слишком благоволила по милости главной горничной Кирилловны, женщины уже немолодой, пронырливой и хитрой. Кирилловна пользовалась большим влиянием на свою госпожу и очень искусно умела устранять соперниц.

В эту-то Дуняшу и влюбись Аким! Да так, как прежде никогда не влюблялся. Он сначала увидал ее в церкви: она только что возвратилась из Москвы… потом встречался с ней несколько раз в барском доме, наконец провел с ней целый вечер у приказчика, куда его пригласили на чай вместе с другими почетными людьми. Дворовые им не брезгали, хоть он и не принадлежал к их сословию и носил бороду; но он был человек образованный, грамотный, а главное с деньгами; притом и одевался он не по-мужицки, носил длинный кафтан из черного сукна, выростковые сапоги и платочек на шее. Правда, иные дворовые и толковали промеж себя, что, дескать, все-таки видно, что он не наш, но в глаза ему чуть не льстили. В тот вечер у приказчика Дуняша окончательно покорила влюбчивое сердце Акима, хотя уже решительно не отвечала ни одного слова на все его заискивающие речи и лишь изредка сбоку посматривала на него, как бы удивляясь, зачем этот мужик тут. Все это только больше распаляло Акима. Он ушел к себе домой, думал, думал и решился добиться ее руки… Так-то она его к себе «присушила»! Но как описать гнев и негодование Дуняши, когда, дней через пять, Кирилловна, ласково зазвав ее к себе в комнату, объявила ей, что Аким (а видно, он умел, как за дело взяться), что этот бородач и мужик Аким, с которым и сидеть-то рядом она почитала обидой, за нее сватается!

Дуняша сперва вспыхнула вся, потом принужденно захохотала, потом заплакала, но Кирилловна так искусно повела атаку, так ясно дала ей почувствовать собственное ее положение в доме, так ловко намекнула на приличный вид, богатство и слепую преданность Акима, наконец так значительно упомянула о желании самой барыни, что Дуняша вышла из комнаты уже с раздумьем на лице и, встретившись с Акимом, только пристально посмотрела ему в глаза, но не отвернулась. Несказанно щедрые подарки этого влюбленного человека рассеяли ее последние недоуменья… Лизавета Прохоровна, которой Аким на радости поднес сотню персиков на большом серебряном блюде, согласилась на его брак с Дуняшей, и этот брак состоялся. Аким не пожалел издержек – и невеста, которая накануне сидела на девичнике как убитая, а в самое утро свадьбы все плакала, пока ее Кирилловна наряжала к венцу, скоро утешилась… Ей барыня дала надеть в церковь свою шаль, а Аким в тот же день подарил ей такую же, чуть ли не лучше.

Итак, Аким женился; перевез свою молодую к себе во двор… Начали они жить. Дуняша оказалась плохою хозяйкой, плохою подпорой мужу. Она ни во что не входила, грустила, скучала, разве какой-нибудь проезжий офицер обращал на нее внимание и любезничал с ней, сидя за широким самоваром; часто отлучалась, то в город за покупками, то в барский двор, до которого от постоялого двора считалось версты четыре. В барском доме она отдыхала; там ее

окружали свои; девушки завидовали ее нарядам; Кирилловна потчевала ее чаем; сама Лизавета Прохоровна с ней разговаривала… Но и эти посещения не обходились без горьких ощущений для Дуняши… Ей, например, как дворничихе, уже не приходилось носить шляпки, и она принуждена была повязывать свою голову платком… как купчиха, говорила ей лукавая Кирилловна, как какая-нибудь мещанка, думала Дуняша про себя.

Не раз пришли Акиму на память слова единственного его родственника, старика дяди, мужика, заматерелого, бессемейного бобыля:

– Ну, брат Акимушка, – сказал он ему, встретившись с ним на улице, – слышал я, ты сватаешься?..

– Ну да; а что?

– Эх, Аким, Аким! Ты нам, мужикам, не брат теперь, что и говорить, – да и она тебе не сестра.

– Да чем же она мне не сестра?

– А хоть бы вот чем, – возразил тот и указал Акиму на его бороду, которую он в угодность своей невесте начал подстригать – сбрить-то ее совсем он не согласился… Аким потупился; а старик отвернулся, запахнул полы своего разорванного на плечах тулупа и пошел прочь, встряхивая головой.

Да, не раз задумывался, кряхтел и вздыхал Аким… Но любовь его к хорошенькой жене не уменьшалась; он гордился ею – особенно, когда сравнивал ее, не говорим уже с другими бабами или с своей прежней женой, на которой его женили шестнадцати лет, – но с другими дворовыми девушками: «Вот, мол, мы какую пташку заполевали!..» Малейшая ее ласка доставляла ему великое удовольствие… Авось, думал он, попривыкнет, обживется… Притом она вела себя очень хорошо, и никто не мог сказать про нее худого слова.

Так прошло несколько лет. Дуняша действительно кончила тем, что привыкла к своему житью. Аким чем больше старел, тем больше к ней привязывался и доверял ей; товарки ее, которые вышли замуж не за мужиков, терпели нужду кровную, либо бедствовали, либо попали в недобрые руки… А Аким богател да богател. Все ему удавалось – счастье ему везло; одно только его сокрушало: детей ему бог не давал. Дуняше уже перешло за двадцать пять лет; уже все ее стали величать Авдотьей Арефьевной. Настоящей хозяйкой она все-таки не сделалась – но дом свой полюбила, распоряжалась припасами, присматривала за работницей… Правда, она все это делала кое-как, не наблюдала, как бы следовало, за чистотой и порядком; зато в главной комнате постоялого двора, рядом с портретом Акима, висел ее портрет, писанный масляными красками и заказанный ею самою доморощенному живописцу, сыну приходского дьякона. Она была представлена в белом платье, желтой шали, с шестью нитками крупного жемчуга на шее, длинными серьгами в ушах и кольцами на каждом пальце. Узнать ее было можно – хотя живописец изобразил ее чересчур дебелой и румяной и глаза ей написал, вместо серых, черные и даже несколько косые… Аким ему вовсе не удался: он вышел у него как-то темно – à la Rembrandt, – так что иной проезжий подойдет, бывало, посмотрит и только помычит немного. Одеваться Авдотья стала довольно небрежно; накинет большой платок на плечи – а платье под ним как-нибудь сидит: лень ее обуяла, та вздыхающая, вялая, сонливая лень, к которой слишком склонен русский человек, особенно когда существование его обеспечено… Со всем тем дела Акима и жены его шли очень хорошо – они жили ладно и слыли за примерных супругов. Но как белка, которая чистит себе нос в то самое мгновенье, когда стрелок в нее целится, человек не предчувствует своего несчастья – и вдруг подламывается, как на льду…

В один осенний вечер на постоялом дворе у Акима остановился купец с красным товаром. Разными окольными дорогами пробирался он с двумя нагруженными кибитками из Москвы в Харьков; это был один из тех разносчиков, которых помещики, и в особенности помещичьи жены и дочери, ожидают иногда с таким великим нетерпением. С этим разносчиком, человеком уже пожилым, ехало двое товарищей, или, говоря правильнее, двое работ-

ников – один бледный, худой и горбатый, другой молодой, видный, красивый малый лет двадцати. Они спросили себе поужинать, потом сели за чай; разносчик попросил хозяев выкушать с ними по чашке – хозяева не отказались. Между двумя стариками (Акиму стукнуло пятьдесят шесть лет) скоро завязался разговор; разносчик расспрашивал о соседних помещиках – а никто лучше Акима не мог сообщить ему все нужные сведения на их счет; горбатый работник беспрестанно ходил смотреть телеги и наконец убрался спать; Авдотье пришлось беседовать с другим работником… Она сидела подле него и говорила мало, больше слушала, что тот ей рассказывал; но, видно, речи его ей нравились: ее лицо оживилось, краска заиграла на щеках, и смеялась она довольно часто и охотно. Молодой работник сидел почти не шевелясь и наклонив к столу свою кудрявую голову; говорил тихо, не возвышая голоса и не торопясь; зато глаза его, небольшие, но дерзко-светлые и голубые, так и впились в Авдотью; она сперва отворачивалась от них, потом сама стала глядеть ему в лицо. Лицо этого молодого парня было свежо и гладко, как крымское яблоко; он часто ухмылялся и поигрывал белыми пальцами по подбородку, уже покрытому редким и темным пухом. Выражался он по-купечески, но очень свободно и с какой-то небрежной самоуверенностью – и все смотрел на нее тем же пристальным и наглым взглядом… Вдруг он пододвинулся к ней немного поближе и, нимало не изменившись в лице, сказал ей:

– Авдотья Арефьевна, лучше вас на свете никого нет; я, кажется, помереть готов для вас.

Авдотья громко засмеялась.

– Чему ты? – спросил ее Аким.

– Да вот – они такое все смешное рассказывают, – проговорила она без особенного, впрочем, смущения.

Старый разносчик осклабился.

– Хе-хе, да-с; у меня Наум такой уж балагур-с. Но вы его не слушайте-с.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.